



Альберт Лиханов

Последние холода

Лиханов А.

Последние холода / А. Лиханов —

Повесть о достоинстве и благородстве детей войны. Голодающие дети Вадим и Марья не идут в детский дом, потому что их мать жива. Той весной закончится война. Об ошибках (опечатках) в книге можно сообщить по адресу <http://www.fictionbook.org/forum/viewtopic.php?t=3118> . Ошибки будут исправлены и обновленный вариант появится в библиотеках.

Альберт Лиханов

Последние холода

Посвящаю детям минувшей войны, их лишениям и вовсе не детским страданиям. Посвящаю нынешним взрослым, кто не научился верить свою жизнь истинами военного детства. Да светят всегда и не иссянут в нашей памяти те высокие правила и неумиряющие примеры, – ведь взрослые всего лишь бывшие дети.

Автор

Вспоминая свои первые классы и милую сердцу учительницу, дорогую Анну Николаевну, я теперь, когда промчалось столько лет с той счастливой и горькой поры, могу совершенно определенно сказать: наставница наша любила отвлекаться.

Бывало, среди урока она вдруг упирала кулачок в остренький свой подбородок, глаза ее туманились, взор утопал в поднебесье или проносился сквозь нас, словно за нашими спинами и даже за школьной стеной ей виделось что-то счастливо-ясное, нам, конечно же, непонятное, а ей вот зримое; взгляд ее туманился даже тогда, когда кто-то из нас топтался у доски, крошил мел, кряхтел, шмыгал носом, вопросительно озирался на класс, как бы ища спасения, испрашивая соломинку, за которую можно ухватиться, – и вот вдруг учительница странно затихала, взор ее умягчался, она забывала ответчика у доски, забывала нас, своих учеников, и тихо, как бы про себя и самой себе, изрекала какую-нибудь истину, имевшую все же самое к нам прямое отношение.

– Конечно, – говорила она, например, словно укоряя сама себя, – я не сумею научить вас рисованию или музыке. Но тот, у кого есть божий дар, – тут же успокаивала она себя и нас тоже, – этим даром будет разбужен и никогда больше не уснет.

Или, зарумянившись, она бормотала себе под нос, опять ни к кому не обращаясь, что-то вроде этого:

– Если кто-то думает, будто можно пропустить всего лишь один раздел математики, а потом пойти дальше, он жестоко ошибается. В учении нельзя обманывать самого себя. Учителя, может, и обманешь, а вот себя – ни за что.

То ли оттого, что слова свои Анна Николаевна ни к кому из нас конкретно не обращала, то ли оттого, что говорила она сама с собой, взрослым человеком, а только последний осел не понимает, насколько интереснее разговоры взрослых о тебе учительских и родительских нравоучений, то ли все это, вместе взятое, действовало на нас, потому что у Анны Николаевны был полководческий ум, а хороший полководец, как известно, не возьмет крепость, если станет бить только в лоб, – словом, отвлечения Анны Николаевны, ее генеральские маневры, задумчивые, в самый неожиданный миг, размышления оказались, на удивление, самыми главными уроками.

Как учила она нас арифметике, русскому языку, географии, я, собственно, почти не помню, – потому видно, что это учение стало моими знаниями. А вот правила жизни, которые учительница произносила про себя, остались надолго, если не на век.

Может быть, пытаюсь внушить нам самоуважение, а может, преследуя более простую, но важную цель, подхлестывая наше старание, Анна Николаевна время от времени повторяла одну важную, видно, истину.

– Это надо же, – говорила она, – еще какая-то малость – и они получают свидетельство о начальном образовании.

Действительно, внутри нас раздувались разноцветные воздушные шарик. Мы поглядывали, довольные, друг на дружку. Надо же, Вовка Крошкин получит первый в своей жизни

документ. И я тоже! И уж, конечно, отличница Нинка. Всякий в нашем классе может получить – как это – *свидетельство* об образовании.

В ту пору, когда я учился, начальное образование ценилось. После четвертого класса выдавали особую бумагу, и можно было на этом завершить свое учение. Правда, никому из нас это правило не подходило, да и Анна Николаевна поясняла, что закончить надо хотя бы семилетку, но документ о начальном образовании все-таки выдавался, и мы, таким образом, становились вполне грамотными людьми.

– Вы посмотрите, сколько взрослых имеет только начальное образование! – бормотала Анна Николаевна. – Спросите дома своих матерей, своих бабушек, кто закончил одну только начальную школу, и хорошенько подумайте после этого.

Мы думали, спрашивали дома и ахали про себя: еще немного, и мы, получалось, догоняли многих своих родных. Если не ростом, если не умом, если не знаниями, так образованием мы приближались к равенству с людьми любимыми и уважаемыми.

– Надо же, – вздыхала Анна Николаевна, – какой-то год и два месяца! И они получают образование!

Кому она печалилась? Нам? Себе? Неизвестно. Но что-то было в этих причитаниях значительное, серьезное, тревожащее...

* * *

Сразу после весенних каникул в третьем классе, то есть без года и двух месяцев начально образованным человеком, я получил талоны на дополнительное питание.

Шел уже сорок пятый, наши лупили фрицев почему зря, Левитан каждый вечер объявлял по радио новый салют, и в душе моей ранними утрами, в начале не растревоженного жизнью дня, перекрещивались, полыхая, две молнии – предчувствие радости и тревоги за отца. Я весь точно напряжился, суеверно отводя глаза от такой убийственно-тягостной возможности потерять отца накануне явного счастья.

Вот в те дни, а точнее, в первый день после весенних каникул, Анна Николаевна выдала мне талоны на доппитание. После уроков я должен идти в столовую номер восемь и там пообедать.

Бесплатные талоны на доппитание нам давали по очереди – на всех сразу не хватало, – и я уже слышал про восьмую столовку.

Да кто ее не знал, в самом-то деле! Угрюмый, протяжный дом этот, пристрой к бывшему монастырю, походил на животину, которая распласталась, прижавшись к земле. От тепла, которое пробивалось сквозь незаделанные щели рам, стекла в восьмой столовой не то что зазеленели, а обросли неровной, бугровой наледью. Седой челкой над входной дверью навис иней, и, когда я проходил мимо восьмой столовой, мне всегда казалось, будто там внутри такой теплый оазис с фикусами, наверное, по краям огромного зала, может, даже под потолком, как на рынке, живут два или три счастливых воробья, которым удалось залететь в вентиляционную трубу, и они чирикают себе на красивых люстрах, а потом, осмелев, садятся на фикусы.

Такой мне представлялась восьмая столовая, пока я только проходил мимо нее, но еще не бывал внутри. Какое же значение, можно спросить, имеют теперь эти представления?

Объясню.

Хоть и жили мы в городе тыловом, хоть мама с бабушкой и надсаживались изо всех сил, не давая мне голодать, чувство несытости навещало по многу раз в день. Нечасто, но все-таки регулярно, перед сном, мама заставляла меня снимать майку и сводить на спине лопатки. Ухмыляясь, я покорно исполнял, что она просила, и мама глубоко вздыхала, а то и принималась всхлипывать, и когда я требовал объяснить такое поведение, она повторяла мне, что лопатки

сходятся, когда человек худ до предела, вот и ребра у меня все пересчитать можно, и вообще у меня малокровие.

Я смеялся. Никакого у меня нет малокровия, ведь само слово означает, что при этом должно быть мало крови, а у меня ее хватало. Вот когда я летом наступил на бутылочное стекло, она хлестала, будто из водопроводного крана. Все это глупости – мамины беспокойства, и если уж говорить о моих недостатках, то я бы мог признаться, что у меня с ушами что-то не в порядке – частенько в них слышался какой-то дополнительный, кроме звуков жизни, легкий звон, правда, голова при этом легчала и вроде бы даже лучше соображала, но я про это молчал, маме не рассказывал, а то выдумает еще какую-нибудь одну дурацкую болезнь, например малоушие, ха-ха-ха!

Но это все чепуха на постном масле!

Главное, не покидало меня ощущение несытости. Вроде и наемся вечером, а глазам все еще что-нибудь вкусненькое видится – колбаска какая-нибудь толстенная, с кругляшками сала, или, того хуже, тонкий кусочек ветчины со слезинкой какой-то влажной вкусности, или пирог, от которого пахнет спелыми яблоками. Ну да не зря поговорка есть про глаза ненасытные. Может, вообще в глазах какое-то такое нахальство есть – живот сытый, а глаза все еще чего-то просят.

В общем, вроде и поешь крепенько, час всего пройдет, а уж под ложечкой сосет – спасу нет. И опять жрать хочется. А когда человеку хочется есть, голова у него к сочинительству тянется. То какое-нибудь невиданное блюдо выдумает, в жизни не видал, разве что в кино «Веселые ребята», например целый поросенок лежит на блюде. Или еще что-нибудь этакое. И всякие пищевые места, вроде восьмой столовой, тоже человеку могут воображаться в самом приятном виде.

Еда и тепло, ясно всякому, вещи очень даже совместимые. Поэтому я воображал фикусы и воробьев. Еще я воображал запах любимой моей гороховицы.

* * *

Однако действительность не подтвердила моих ожиданий.

Дверь, ошпаренная инеем, поддала мне сзади, протолкнула вперед, и я сразу очутился в конце очереди. Вела эта очередь не к еде, а к окошечку раздевалки, и в нем, будто кукушка в кухонных часах, появлялась худая тетка с черными и, мне показалось, опасными глазами. Глаза эти я заметил сразу – были они огромными, в пол-лица, и при неверном свете тусклой электрической лампочки, смешанном с отблесками дневного сияния сквозь оплывшее льдом оконце, сверкали холодом и злобой.

Столовка эта была устроена специально для всех школ города, поэтому, ясное дело, очередь тут стояла детская, из мальцов и девчонок, притихших в незнакомом месте, а оттого сразу вежливых и покорных.

«Здрассь, тетя Груша», – говорила очередь разными голосами – так я понял, что гардеробщицу зовут именно этим именем, и тоже поздоровался, как все, вежливо назвав ее тетей Грушей.

Она даже не кивнула, зыркнула блестящим вороньим глазом, кинула на барьерчик жестяной, скрежетнувший номерок, и я очутился в зале. С моими представлениями совпали только размер и воробы. Они сидели не на фикусах, а на железной перекладине под самым потолком и не щебетали оживленно, как щебетали их собраты на рынке, неподалеку от навозных катышей, а были молчаливы и скромны.

Дальнюю стену столовой прорезала продолговатая амбразура, в которой мелькали белые халаты, но путь к амбразуре преграждала деревянная, до пояса, загородка унылого серо-зеленого, как и вся столовая, цвета. Чтобы забраться за загородку, надо было подойти к крашеной

тетке, восседавшей на табуретке перед фанерным коробом с прорезями: она брала талончики, привередливо разглядывала их и опускала, как в почтовые ящики, в щелки короба. Вместо них она выдавала дюралевые кругляши с цифрами – за них в амбразуре давали первое, второе и третье, но еда была разная, видно, в зависимости от талончиков.

Взгрозив на поднос свою долю, я выбрал свободное место за столиком для четверых. Три стула уже были заняты: на одном сидела тощая, с лошадиным лицом, пионерка, класса так из шестого, два других занимали пацаны постарше меня, но и помладше пионерки. Выглядели они гладко и розовощеко, и я сразу понял, что пацаны гонят наперегонки – кто быстрее съест свою порцию. Парни часто поглядывали друг на дружку, громко чавкали, но молчали, ничего не говорили – состязание получалось молчаливое, будто, тихо сопя, они перетягивали канат: кто кого? Я поглядел на них, наверное, слишком внимательно и чересчур задумчиво, выражая своим взглядом сомнение в умственном развитии пацанов, так что один из них оторвался от котлеты и сказал мне невнятно, потому что рот у него был забит едой:

– Лопай, пока не получил по кумполу!

Я решил не спорить и принялся за еду, изредка поглядывая на гонщиков.

Нет, что ни говори, а еду эту можно было только так и прозвать – дополнительное питание. Уж никак не основное! От кислых щей сводило скулы. На второе мне полагалась овсянка с желтой лужицей растаявшего масла, а овсянку я не любил еще с довоенных времен. Вот только третье обрадовало – стакан холодного вкусного молока. Ржаную горбуху я доел с молоком. Впрочем, я съел все – так полагалось, даже если еда, которую дают, невкусная. Бабушка и мама всю мою сознательную жизнь настойчиво учили меня всегда все съедать без остатка.

Доедал я один, когда и пионерка и пацаны ушли. Тот, который победил, проходя мимо, больно щелкнул меня все-таки по стриженной голове, так что молоком я запивал не только кусок ржаного хлеба, но еще и горький комок обиды, застрявший в горле.

Перед этим, правда, был один момент, в котором я толком ничего не понял, разобравшись во всем лишь на следующий день, через целые сутки. Победив соперника, гладкий парень скатал хлебный шарик, положил его на край стола и чуть отодвинулся. Задрав голову, пацаны посмотрели вверх, и прямо на стол, точно по молчаливой команде, слетел воробей. Он схватил хлебный кругляш и тут же убрался.

– Повезло ему, – хрипло сказал чемпион.

– Еще как! – подтвердил проигравший.

У чемпиона оставалась хлебная корка.

– Оставить? – спросил он приятеля.

– Шакалам? – возмутился тот. – Дай лучше воробьям!

Чемпион положил корку, но воробей, подлетевший тут же, не сумел ухватить ее. Тем временем пацан, проигравший соревнование в еде, уже встал.

– Ну, ладно! – поднялся победитель. – Не пропадать же! – И запихнул корку в рот.

Щека у него оттопырилась, и вот с такой скособоченной рожей он прошел рядом со мной и щелкнул меня по макушке.

Я уже не озирался больше. Давясь, глядя в стакан, доел ржануху и пошел с номерком к тете Груше.

Не очень-то вкусным вышло дополнительное питание.

* * *

Школы учили ребятню в три смены, и потому восьмая столовка дополнительного питания пыхла с утра до позднего вечера. На другой день я воспользовался этим: сразу после уроков в столовой очередь, да и вчерашних гладких парней встречать не хотелось.

Вот ведь гады! Я припоминал, как они соревновались, кто быстрее съест свой обед, силился представить их похожие лица, но ничего, кроме одинаковой гладкости, вспомнить не мог.

Словом, я погулял, побродил по улицам, и уж когда стало совсем голодно, переступил порог столовой. Народу к тете Груше не было совсем, она скучала в окошке раздевалки, а когда я принялся расстегивать пуговицы пальто, сказала вдруг:

– Не раздевайся, сегодня холодно!

Видно, на лице моем блуждало недоверие, а может, и просто недоумение – я еще никогда в жизни не ел по-зимнему одетым, и она улыбнулась:

– Да не бойся! Когда холодно, мы разрешаем.

Для верности стянув все-таки шапку, я вошел в обеденный зал.

В столовой был тот ленивый час, когда толпа едоков уже схлынула, а сами повара, известное дело, должны поесть до общего обеда, чтобы не раздражаться и быть добрыми, и поэтому по обеденному залу бродила дрема. Нет, никто не спал, не слипались глаза у поварих в амбразуре, и крашенная тетка возле короба сидела настороженная, напружиненная, точно кошка, видать, еще не отошла от волнения ребячьей очереди, но уже и она напрягалась просто так, по привычке и без надобности. Еще малость – она притихнет и замурлычет.

Дреме было, понятно, неуютно в этой столовой. Ведь ей требуется всегда, кроме сытости, еще и тепло, даже духота, а в восьмой столовой стояла холодрыга. Похоже, дрова для котлов, чтобы еду сварить, еще нашлись, а вот обогреть холодный монастырский пристрой сил не достало. И все-таки дрема бродила по столовой – стояла тишина, только побрякивали ложки немногих едоков, из-за амбразуры медленно и нехотя выплывал белый вкусный пар, крашенная тетка, едва я подошел к ней со своим талончиком, смешно закатав глаза, протяжно, со стоном зевнула.

Я получил еду и сел за пустой столик. Есть в пальто было неловко, толстые стеганные рукава норовили заехать в тарелку, и, чтобы было удобней сидеть, я подложил под себя портфель. Другое дело! Теперь тарелки не торчали перед носом, а чуточку опустились, вернее, повыше очутился я, и дело пошло ходче.

Вот только еда сегодня оказалась похуже вчерашней. На первое – овсяный суп. Уж как я не хотел есть, уж как я не терпел овсяную кашу, одолеть суп из овсянки было для меня непомерное геройство. Вспоминая строгие лица бабушки и мамы, вызывавшие меня к твердым правилам питания, я глотал горячую жидкость с жутким насилием над собой. А власть женской строгости все-таки велика! Сколь ни был я свободен здесь, в далекой от дома столовой, как ни укрывали меня от маминых и бабушкиных взоров стены и расстояние, освобождаться от трудного правила было нелегко. Две трети тарелки выхлебал пополам с тоской и, вздохнув тяжело, помотав головой, как бы завершая молчаливый спор, отложил ложку. Взялся за котлету.

Как он присел напротив меня, я даже и не заметил. Возник без единого шороха. Вчерашний воробей нашумел куда больше, когда слетал на стол. А этот мальчишка появился точно привидение. И уставился на тарелку с недоеденным супом.

Я сначала не обратил на это внимания – меня тихое появление пацана поразило. И еще – он сам.

У него было желтое, почти покойническое лицо, а на лбу, прямо над переносицей, заметно синела жилка. Глаза его тоже были желтыми, но, может, это мне только показалось оттого, что такое лицо? По крайней мере, в них что-то светилось такое, в этих глазах. Какое-то полыхало страшноватое пламя. Наверное, такие глаза бывают у сумасшедших. Я сперва так и подумал: у этого парня не все в порядке. Или он чем-то болен, какой-то такой странной болезнью, которой я никогда не видывал.

Еще он бросал странные взгляды. У меня даже сердце сжалось, слышно застучала кровь в висках. Мальчишка смотрел мне в глаза, потом быстро опускал взгляд на тарелку, быстро-

быстро двигал зрачками: на меня, на тарелку, на меня, на тарелку. Будто что-то такое спрашивал. Но я не мог его понять. Не понимал его вопросов.

Тогда он прошептал:

– Можно я доем?

Этот шепот прозвучал громче громкого крика. Я не сразу понял. О чем он? Что спрашивает? Можно ли ему доесть?

Я сжался, оледенел, пораженный. Меня дома учили всегда все съесть, мама придумывала мне всякие малокровия, и я старался, как мог, но даже при крепком старании не все у меня выходило, хотя я и знал, что скоро снова засосет под ложечкой. И вот мальчишка, увидевший недоеденный противный суп, просит его – просит!

Я долго и с натугой выбирал слово, какое должен сказать пацану, и это мое молчание он понял по-своему, понял. Наверное, будто мне жалко или я еще доем эту невкусную похлебку. Лицо его – на лбу и на щеках – покрылось рваными, будто родимые пятна, красными пятнами. И тогда я понял: еще мгновение – и я окажусь свиньей, самой последней свиньей. И только потому, видите ли, что у меня не находится слов.

Я быстро кивнул. И потом еще кивнул раза три, но мальчишка уже не видел этих кивков. Он схватил мою ложку и быстро, в одно мгновение, доел овсяный суп.

После того как я кивнул, пацан больше не смотрел на меня. Ни разу не взглянул. Быстро съел суп и, спрятав глаза, двинулся от стола. Я посмотрел ему вслед. Пацан ушел в дальний угол столовой и только там обернулся. Он не глядел на меня, я, видно, уже не интересовал его. Он смотрел на зал, передергивая взгляд от одного столика, где кто-то ел, к другому. Рядом с ним, в углу, стояла маленькая девчонка.

Я доел котлету, выпил чай и слез с портфеля. Медленно, нарочно утишая шаг, я направился к выходу, украдкой, чтобы он не заметил этого, разглядывая пацана. Одет он был ничего, прилично, в серое пальто с черным собачьим воротником, такие, я знал, давали по ордерам в универмаге, и на девочке было точно такое же пальто, только, понятно, маленького размера, и я подумал, что, может, это детдомовские ребята – там одевают всех похоже, будто в форму.

Когда я совсем приблизился к мальчишке с его сестрой – какой же мальчишка в наше время мог стоять с девчонкой, если она не сестра? – маленькая быстро, точно мышь, шмыгнула к столу возле окна.

Там сидела большая девчонка, тонкая и бледная, как бумага. Она кивала маленькой головой. И когда та подбежала, подвинула ей половину котлеты с половиной картофельного пюре. Я задержался в дверях и увидел, что большая девчонка дала маленькой еще и хлеба. Она что-то шептала, маленькая, а большая девчонка говорила ей неслышные мне, но добрые слова – это сразу видно, что добрые, потому что, когда говорят добрые слова, в такт им кивают головой.

Меня осенило.

Так вот про каких шакалов говорили вчера гладкие парни!

* * *

Я шел домой и все думал: а я бы смог так? Ведь это небось стыдно. Да, наверное, и противно – доедать за другими. Еще и просить...

Нет, пожалуй, паренек с сестренкой не из детского дома, там ведь кормят исправно, а эти... Какими же надо быть голодными, чтобы отираться в столовке, доедать чужие куски, вылизывать чужие тарелки?

В детстве человечество не страдает риторикой. И этот вопрос, сколько дней надо голодать, чтобы попрошайничать в восьмой столовке, не был для меня вопросом ради вопроса. Я решил, что можно выдержать два дня. Да, два дня. На третий, каким бы ты ни был стыдливым, придешь, попросишь, взмолишься.

И все же я не мог представить такого стыда. Ясно кому угодно: просто так, без нужды, нормальный человек не станет попрошайничать. Но у мальчишки горели безумным светом глаза. «Может, все-таки он больной? – спрашивал я себя. – Ну а девчонка? Тоже больная?»

На всякий случай еще с вечера я стянул из буфета кусок хлеба, обернул его аккуратно газетой и положил в портфель.

* * *

Назавтра нас отпустили после четвертого урока. Пятым была физкультура, но Анна Николаевна болела ангиной – и так-то сидела с температурой, а тут еще надо идти во двор и выделять всякие упражнения. Прежде у нас тоже такое случалось, но тогда, видать, Анна Николаевна чувствовала себя получше и физкультуру заменяла каким-нибудь другим предметом, той же, к примеру, арифметикой, задавала задачи, а сама куталась в платок, ежилась, а наежившись, что-нибудь изрекала в конце урока: мол, кашу маслом не испортишь. Дескать, что там физкультура, разве можно ее сравнить с арифметикой, где лишний раз повторить – сущее благо.

Но тут она расклеилась совсем, говорила слабым голосом, а после звонка на пятый урок вместо нее в класс вошла Фаина Васильевна, наша директриса. Остановившись на пороге и понизив голос, она сказала, чтобы мы тихо и быстренько собирались и шли домой, потому что у Анны Николаевны температура.

Я припустил в столовку и застал столпотворение. Змеей петляла очередь к тете Груше, но многие, не раздеваясь, шли прямо к тетке с коробом, ели в пальто, мест за столиками не хватало, и некоторые жевали даже стоя, пристроив тарелки на краешек занятого стола или на широкий монастырский подоконник.

Особенно много было малышей, и я понял, что сошлись две или, может, даже три смены. Маленькие, которых отпустили раньше, вторая смена ела, ясное дело, перед уроками, а из третьей пришли те, у кого, наверное, терпения не хватало. Я подумал и двинулся на приступ амбразуры одетым.

Когда ты невелик ростом, жить трудно. Тебя отталкивают, могут дать по макушке, подставить ножку, если ты спешишь, и зло обхохотать. Пока я стоял к тетке с коробом, пацаны побольше стали проходить вперед и, заметив девчонку или маленького пацана, запросто влезали перед ними. Даже не оборачивались, нахалюги, и, уж конечно, ничего не говорили в оправдание. И маленьким приходилось объединяться. Передо мной сперва был красноухий мальчишка, и я взял его за хлястик пальто, чтобы никто не ворвался между нами. Он только улыбнулся мне, показав пол-лица с кривыми зубами. Сам он держался за девчонку. Но когда мы приблизились к кассирше, между мной и красноухим влез длинный парень с большим горбатым носом. Он так нагло вклинился между нами, будто совсем и не замечал, что мы держимся друг за дружку. Я сразу присвоил ему кличку Нос.

– Э! – сказал я тихонько. А про себя добавил: «Нос!»

Длинный повернулся ко мне.

– Не рыпайся, – прошипел он, и на меня пахнуло таким ядреным махорочным духом, что я покорился.

А длинный махнул рукой и пропустил перед собой еще парней пять, не меньше, наглец такой.

От шайки этой перло, как из курительной комнаты где-нибудь в кинотеатре, они галдели, матюгались, правда понижая при этом голоса, толкались, и вообще, нестрашные, может, каждый поодиночке, вместе они были какой-то грубой и злой силой, с которой даже взрослые предпочитали не связываться.

Портфели эта банда свалила возле стенки, и никто из них ни разу не обернулся на свое добро. Я не завидовал таким шайкам, их тогда было много, чуть не в каждом дворе или даже классе – там царили несправедливые законы, зло и несправедливость. Ладно бы, задевали других – они и своего могли запросто избить. Да что там, почти в каждой компании была своя шестерка – пацан, который считался вроде бы адъютантом самого сильного. Но были у шаек и свои привилегии. Они не боялись взрослых. Они не тряслись на каждом шагу, если были вместе. Они не озирались по сторонам и запросто могли свалить в кучу свои сумки. А я вот не мог даже такой малости. Я был одинок в этой столовке и крепко держал свою сумку, думая о том, как же потащу поднос с едой да еще портфель.

Это, конечно, удалось плохо, суп, на этот раз любимая гороховица, расплескался наполовину, я и остальное-то еле дотащил. Хорошо, хоть повезло с местом. Наконец я устроился. Неподалеку гоготала шайка – парни заняли столик, но двоим мест не досталось, и они ели стоя, наклоняясь к своим тарелкам за каждой ложкой, смешили остальных.

Мне досталось удобное место, в углу, да и вместо портфеля я устроился на собственной ноге, подтянув ее под себя, а нога была в большом валенке поэтому вся столовая открылась передо мной как на ладони.

Что же вокруг творилось! Я даже хохотнул – никогда я не видывал такого. Очередь к накрашенной тетке вилась между столами и заканчивалась возле гардероба, где опять, как кукушка, мелькала в своем окне черноглазая Груша.

А шум какой стоял! Такой гомон мог быть еще только на вокзале. Поезд вот-вот тронется, а люди не сели, да и в вагонах не хватает мест, и все колготятся, дергаются, а сделать ничего не могут. Народ в восьмой столовой тоже колготился и дергался. Грохали железные миски у раздавальщиц в амбразуре. Постукивали ложки о края мисок в обеденном зале. Мальчишки и девчонки разного роста и в разной одежде вставали, садились, ходили между столиков, говорили, смеялись, вскрикивали, носили подносы с едой и волокли их обратно, уже с пустой посудой. В такой толкотне отыскать желтолицего было не так-то легко. Да и пришел ли он сегодня? Мог ведь и не прийти. Или появиться позже.

Прихлебывая суп, я внимательно изучал столовую. И вдруг увидел, как к белобрысой девчонке, которая несла поднос, подскочил маленький мальчишка и схватил ее хлеб. Девчонка испуганно вскрикнула, едва не выпустила поднос, а парни из шайки захохотали:

– Молодец, шакаленок! – крикнул длинный.

– Шакалы! – пискнуло у меня под ухом.

Я повернулся. За моим столом сидела девчонка и еще два мальчишки, все младше меня. Даваясь, они торопливо ели свою еду, да еще свободной рукой прикрывали миски, будто кто-то выхватит их сейчас.

– Второе-то не отнимут, – сказал я, стараясь их успокоить. – А суп и подавно!

Я старался улыбнуться, а веснушчатая и щербатая девчонка – из разговорчивых, видать, – прошепелявила сквозь картофельное пюре:

– Еще как отнимут!

– Прямо миску? – удивился я.

– Прямо миску! Я видела один раз, – прожевав, будто учительница, объяснила она, – как парень прямо из миски котлету выхватил и тут же съел! Даже не побежал!

Маленькие пацаны за нашим столом сильнее застучали ложками.

– Главное, – объясняла веснушка, – скорее суп съесть.

– Почему? – удивился я.

– Тогда только одна тарелка останется. Ее можно держать.

Двое мальчишек замирали, пока девчонка говорила, будто запоминали урок умной учительницы, но, как только она замолкала, просто грохотали ложками.

Я снова оглядел зал. И увидел наконец желтолицего. Он походил на охотника. Стоял в какой-то настороженной позе.

А щербатая девчонка не умолкала. Она добралась до компота и, видно, теперь не боялась, что ее ограбят. Вот и старалась.

– Есть, конечно, такие, которые по-хорошему просят, – сказала она и отпила компот. – На них и облавы устраивают. Ничего не помогает. – Она болтала ногами и уже не думала о страхе. – Но хуже всех маленьким приходится. И нам, девчонкам. А если ты маленький и девчонка, то вообще!

Едва она успела проговорить, как желтолицый, ловко огибая столик, кинулся навстречу еще одной маленькой девчонке с подносом и схватил хлеб.

Та, белобрысая, промолчала – видать, боялась и знала, как себя вести, – а маленькая завывала, точно сирена. В столовой сразу стало тихо, все обернулись к ней и желтолицему, и в этой тишине шакал молча, уверенно и быстро выскочил из столовой.

– Эт-та что такое опять? – закричала крашенная тетка, с грохотом захлопнула деревянный шлагбаум к амбразуре, вскочила со своего возвышения, заорала гардеробщице: – Груша, ты там сидишь, а тут опять воруют!

Парни за соседним столом загоготали, началась свара между Грушей и крашеной, и все были на стороне Груши: ясное дело, уж кто сидит, так это крашенная, а гардеробщица, будто кукушка в часах, едва поворачиваться поспевает.

– Это я сию? – кричала Груша.

– А кто же? – отвечала ей крашенная.

– Посмотри, скоко народу!

– А у меня меньше? Тебе велено гнать всех этих... – Она притормозила, но не сдержалась и закончила: – Шакалов!

– Какие они шакалы?! – отчаянно крикнула Груша. – Голодные ребята, вот и все!

– Все голодные!

Девчонка, у которой украли хлеб, давно успокоилась и ела уже второе, а Груша и кассирша все еще переругивались, и тут очередь начала роптать. Сперва тихо, неуверенно прокатился в столовке какой-то шелест. Потом кто-то крикнул:

– Кончай базарить! Давай жрать!

Что тут началось!

Грубые и писклявые, девчачьи и мальчишечьи голоса слились в один протяжный, долгий крик:

– Жра-а-ать! Жра-а-ать!

Мне даже стало страшно. Крашенная тетка заозиралась, словно кошка в опасности, потом чего-то сообразила, что-то решила свое и быстро вернулась к коробу.

Из амбразур высовывались раздатчицы в белых косынках.

– Ну что? – спрашивали они. – Опять?

– Ничего! – громко, перекрывая гвалт, ответила крашенная и принялась принимать талончики. Точно по команде, крик стих, снова забренчали ложки.

Столовка продолжала кормить малый народ.

* * *

– А девчонку-то зовут Нюрка, – объявил длинный, который оттер меня. – Она с нашего двора!

– У-у-у! – загудела остальная шайка.

– И этого шакала надо проучить, – сказал Нос.

Мне и в голову не пришло бы, что этот Нос борется за справедливость. Просто их много, вот и все. А тот, желтолицый, – неужели он только с сестрой?

Доев, я выскочил за шайкой Носа. Длинный уже разговаривал с желтолицым. Тот был один и стоял перед мальчишками, прижавшись к забору.

– Тебе не стыдно? – фальшивым голосом припевал Нос. – У маленькой! У девочки! Отнимать хлеб!

Я поразился. Желтолицый был совершенно спокоен. Казалось, еще мгновение, и он зевнет.

– Да мы, – куражился Нос, – да тебя! Сдадим в милицию, хулиган такой.

– Сдавайте, – устало мотнул головой пацан.

– Ну нет! – не растерялся Нос. – Это было бы слишком просто! И слишком, – он обернулся к своей шайке, – безболезненно.

Его банда хохотнула. Приятели дылды стояли вокруг желтолицего полукругом. И портфели их снова лежали горкой – руки свободны для драки.

Если бы для драки! Для избиения.

Итак, они стояли полукругом и были похожи на стаю, загнавшую зверя. «Вот кто шакалы-то», – подумал я, и в тот же миг Нос медленно и неуклюже, точно пробуя свои силы, ударил желтолицего в грудь. Тот не шелохнулся, не поднял рук, чтобы защититься, не уклонился от удара.

Нос сделал еще один выпад и отскочил. Я сразу понял, что этот длинный просто трус, а никакой не предводитель и драться-то он не умеет.

– Отойди! – предупредил желтолицый. – А то будет худо.

Нос фальшиво расхохотался. Было над чем. Шакал один, а приятелей длинного шестеро; всего семь. И один угрожает семерым.

Нос изловчился и ударил желтолицего, целя по челюсти. Парень снова не уклонился и не защитился; он принял удар с каким-то непонятным мне смирением. Но это смирение длилось всего секунду, не дольше. Желтолицый сглотнул кровь, а в следующий миг прыгнул, будто разжатая пружина, к Носу и обеими руками вцепился ему в горло. Первую минуту драка проходила в полной тишине. Приятели длинного отпрянули по сторонам, а он какое-то время валтузил желтолицего по корпусу. Но бить его было неловко, не с руки, не хватало пространства для размаха, удары не приносили шакалу никакого вреда, зато он мертвой хваткой вцепился в горло противника, и я увидел, как побелели, сделались похожими на снег костяшки его пальцев.

– Ну! Вы! Помогите! – крикнул, задыхаясь, Нос, и шестеро его подручных тоже неумело и невпопад принялись лупить желтолицего со спины.

Он не уворачивался, и ему пришлось бы худо, если бы он имел дело с настоящими драчунами. Но шайка Носа могла только хорохориться в столовой или где-нибудь в киношке на детском сеансе, могла громко ругаться и курить, а драться она не умела, и один решительный парень одолел их. Он молча сжимал горло длинного, тот крутанулся и раз, и другой, бухнулся на землю, увлекая за собой противника, и вдруг задрывал ногами – странно очень задрывал, по-взаправдашнему задрывал и захрипел из последних сил:

– Отпусти-и-и!

Его команда не на шутку испугалась, увидев, как Нос судорожно задрывал ногами, сбилась в кучу и притихла. Желтолицый лежал на противнике. Он с трудом, даже, кажется, с болью разжимал собственные пальцы. На горле Носа темнели пятнышки – это были синяки! Ну и ну! Желтолицый дрался не на шутку. Еще немного, и он мог бы задушить длинного. Вот тут, возле столовки, посреди бела дня, да еще когда Нос не один, а с целой компанией помощников!

Такого я не видывал – ни до, ни после.

Желтолицый встал, с трудом поднимался и Нос. Неожиданно длинный заплакал. Он хрипел, что-то хотел сказать, но у него ничего не получалось, и я не мог понять, угрожает он или жалуется. Казалось, один желтолицый понимает его.

– А как же ты думал? – спросил он спокойно, даже добродушно. – Я ведь и убить могу.

Он проговорил это без всякой угрозы, но шайка Носа кинулась к своим сумкам и растворилась.

Нос остался один. Он просморкался, вытер рукавом свой горбатый нос, вроде привел себя в порядок, но не справился с собой. Снова заревел, но теперь уже по-другому, визжа не от боли, а от досады.

Он подобрал свою сумку, а поравнявшись со мной, пнул мой портфель.

За что? За то, что я был свидетелем? Но ведь драку видели многие. У входа в столовку скопилась настоящая толпа. Только никто не решался подойти близко.

Я стоял ближе всех.

* * *

Едва драка кончилась, как все разошлись. Остался один я. И желтолицый, конечно. Он подошел к забору, возле которого стоял перед дракой, и опять прислонился. Лицо его было таким, будто он вовсе и не дрался. «Вот это воля, надо же!» – восхитился я.

Два непохожих чувства боролись во мне – восхищения и отвращения.

Желтолицый был примерно одного класса с Носом, но ниже ростом, один, и его отчаянная, ни на что не похожая храбрость не могла не поражать. Но ведь этот человек отнял хлеб у девочек в столовой. У маленькой к тому же девочки, такой, как его сестра.

Что же значило это? И что еще, кроме отвращения, могло вызывать, какие чувства?

Я приготовил ему кусок хлеба, раз он такой голодный, я хотел отдать ему ломоть, завернутый в газету, но события так закрутились... Я не знал, что делать.

Желтолицый все стоял у забора, прислонившись, прикрыв глаза. Казалось, он ничего не видит. И даже не дышит.

И тут он упал. Не сразу, не как подкошенный, а вдруг закатил глаза и пополз вниз по забору.

Он неловко сел в снег, и голова его откинулась.

Ну, я перепугался!

Первое, что пришло мне в голову, – это коварство Носа. Наверное, подумал я, во время драки он всадил желтолицему шило в живот. Шпана военных лет обожала ходить с шилом, или с наточенным рашпилем, или с каким-нибудь железным прутком – не придерешься, не холодное оружие. Я подумал, что Нос ткнул желтолицего шилом, тот сперва терпел, а теперь вот свалился.

Я подбежал к мальчишке, потряс его за воротник – на большее не решился – и, бросив портфель, кинулся в столовую.

Народу в прихожей было поменьше, но все-таки много, и я закричал, перебивая шум, обращаясь к единственной, кого знал по имени, обращаясь без веры, что она поможет, очень уж черные и злые были у нее глаза, но я все равно кричал, потому что надо было как-то спасти желтолицего.

– Тетя Груша! – орал я благим матом, от страха не слыша самого себя. – Там парень упал! Шакал! Помира-а-ет!

– Такой желтолицый? – крикнула тетя Груша.

– Они там дрались, – заорал я в ответ, – и он потом упал.

Но тетя Груша несла какую-то чепуху.

– Чайку надо, – говорила она, выскакивая из своего скворечника. – Сладкого чайку! – Потом кинулась в зал, к амбразуре, закричала: – Девочки, дайте чайку послаще! Да побыстрее!

– Опять? – спросила крашенная тетка.

– Опять! – ответила Груша.

Мелко семена, она мчалась по столовке, и все перед ней расступались, точнее, перед железной кружкой, над который дымился парок и которую несла в вытянутой руке тетя Груша.

Я выскочил на улицу первым. Желтолицый сидел все в той же неудобной позе, откинувшись назад.

– На-ка, мальчик, поддержи, – сказала тетя Груша, протягивая мне кружку с чаем. Сама она схватила снег и принялась растирать им виски желтолицего пацана.

– Ох ты господи! – повторяла тетя Груша. – Ох ты господи! Что же это делается-то, а?

Я увидел ее при дневном свете и поразился: как же может ошибаться человек! Она вовсе не походила на ту женщину, которая, будто кукушка, появлялась в своем окошке. Лицо ее было вовсе не злое, а усталое, может, тронутое какой-то болезнью, и синие круги под глазами опустились до середины щек. И сами глаза были совершенно другие. Не угольные, не пугающие, а как бы бархатные и печальные.

– Это что же, господи! – повторяла она, умело растирая виски желтолицему. – Что же голод-то с нами делает?

Желтолицый вздохнул, открыл глаза, увидел меня и произнес через силу:

– А! Это ты!

– Ну-ка попей чайку! – воскликнула тетя Груша. Она помогла желтолицему встать.

Он держался одной рукой за забор, другой взял кружку и начал прихлебывать горячий чай. Ноги его дрожали. Было видно, как трясутся коленки.

«Как же он победил? – поразился я. – Ведь только что он чуть не задушил Носа у меня на глазах, а теперь еле держится на ногах! Неужели так бывает?»

Он допил чай, сквозь желтизну на щеках проступили рваные красные пятна.

– Спасибо! – вздохнул он и сел прямо в снег.

– А теперь признавайся, – проговорила тетя Груша, – сколько дней не ел?

Он усмехнулся:

– Вот он меня вчера угостил.

– А сегодня, – спросила Груша, – тот хлеб?

– Его сеструхе.

– Ну, как следует? Сколько дней не ел как следует?

– Пять, – проговорил желтолицый.

* * *

– Что с тобой было? – спросил я Вадьку. Теперь я знал имя желтолицего. – У забора?

Он усмехнулся:

– «Что, что». Обморок! Да мне не привыкать. А, Марья?

Мы шли втроем – Вадька, его сеструха, которую он смешно и торжественно называл Марья, и я. Маша доедала кусок хлеба украденный, а Вадька – который принес я.

– Только зря все это, – сказал Вадька. – Жрать сильнее захотелось.

– Ага! – согласилась Марья. – Если не есть, на третий день легче становится.

– Тебя это не касается, – оборвал ее Вадька, – тебе надо есть, ты еще растешь.

– Можно подумать, ты вырос! – как взрослая, проворчала Марья.

Мы шли по улице, и я думал: мы бредем просто так, без всякой цели, может быть, в сторону дома, где живут Вадька и Марья, но пришли мы к главной почте. Вадька уверенно распахнул дверь, прошел в большое помещение, сел за стол.

– Доставай, – велел он Марье.

Девчонка открыла портфель, вынула тетрадку в косую линейку, вырвала листок.

– Пиши ты, – строго сказал Вадька сестренке, – мама любит твой почерк.

Машка, видно, перечила брату не всегда. Высунув язык, она взяла почтовую ручку, обмакнула перо в казенные чернила и старательно, большими буквами вывела первую строчку.

– «Дорогая мамочка!» – продиктовал Вадька.

– Уже написала, – сказала Марья.

– «У нас все хорошо, – задумчиво проговорил он. – Вадик получил три пятерки. По математике, русскому языку и географии. У меня вообще одни пятерки. Вчера мы были в гостях у тети Фаи, она нас до отвала накормила холодцом».

– А как пишется «до отвала»? – спросила Марья. – На конце «а» или «у»?

– Да все равно, – сказал Вадька, – главное, холодец.

Я понял, что они врут. Про холодец и про гости врут абсолютно точно, это ясно, но ведь про пятерки, наверное, тоже.

– Зачем врешь? – спросил я Вадьку.

– Затем, – ответил он зло, – что ей нельзя расстраиваться.

Он помолчал.

– Если бы мы написали правду, – качнул он головой. – А, Марья?

Она подняла голову, усмехнулась горькой взрослой улыбкой. Спросила:

– Как я карточки потеряла? И деньги?

Вот так дела! Они живут без карточек и без денег, да мыслимое ли это дело в войну-то! Мама и бабушка приносили домой рассказы, как померла с голоду одна женщина, а вторая заболела так, что все равно померла, – и все из-за проклятых карточек, из-за того, что их потеряли или украли злобные бандиты.

Да что там! Разве мог я забыть, как ограбили нас, украли отцовский костюм из шифоньера, только пустые плечики постукивали одиноко друг о дружку, а вместе с костюмом прихватили и карточки. Как мы выжили месяц, один бог знает.

– А родные-то есть у вас? – спросил я.

– Мы эвакуированные, – ответила Марья.

– Тогда знакомые? – воскликнул я.

Вадька понурился, опустил голову, о чем-то крепко думал он, и Марья ответила за обоих:

– Мы боимся, они маме скажут. А ей волноваться нельзя.

Он поднял голову, мой новый приятель, и на лбу его я увидел морщинки, будто он старик.

– Это ее убьет, – сказал он.

* * *

Есть люди, похожие на магниты. Они ничего особенного не делают, а к ним тянет.

Вадька был такой магнит. Правда, нельзя сказать, что он ничего не делал. Шакалил в столовой – разве этого мало? Отнял хлеб у девчонки. Но, честно сказать, меня тянуло к нему не это.

Я чувствовал, что желтолицый парень какой-то совсем другой, чем все остальные знакомые мне люди. Даже если сравнивать его со взрослыми. Что-то в нем было такое.

Что? Я не знал. Маленькие люди ведь вообще, многого не зная, умеют чувствовать. Умеют ощущать. Вот, может, и во мне было такое ощущение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.